

A dramatic landscape featuring a gnarled tree in the foreground, a rocky beach, and a stormy sea under a cloudy sky. The tree's branches are dark and intricate, framing the scene. The sea is turbulent with white-capped waves crashing against the shore. The sky is filled with heavy, grey clouds, suggesting an approaching storm or late afternoon light. The overall mood is somber and contemplative.

12+

Алексей Мельников

Беседы о литературе

Алексей Мельников
Беседы о литературе

«Автор»

2021

Мельников А.

Беседы о литературе / А. Мельников — «Автор», 2021

Штрихи к портретам известных и малоизвестных писателей: Александра Радищева, Гавриила Державина, Александры Смирновой-Россет, Николая Гоголя, Ивана Гончарова, Максима Горького, Важи Пшавела, Константина Паустовского, Александра Чехова, Андрея Платонова, Владимира Кобликова, Николая Островского, Альбера Камю, Евгения Винокурова, Сергея Сергеева-Ценского, Мартина Хайдеггера, Ильи Сельвинского, Николая Панченко, Астрид Линдгрэн, Евгения Евтушенко, Василия Белова, Юрия Казакова, Петра Вайля, Александра Мызникова, Валентина Берестова, Николая Любимова, Михаила Исаковского, Илья Эренбурга, Николая Бессонова и др.

© Мельников А., 2021

© Автор, 2021

Содержание

Александр Радищев	5
Гавриил Державин	7
Александр Герцен	10
Александра Смирнова-Россет	12
Иван Гончаров	14
Николай Федоров	16
Константин Паустовский	19
Александр Чехов	21
Борис Слуцкий	24
Юрий Нагибин	27
Сергей Сергеев-Ценский	29
Конец ознакомительного фрагмента.	30

Алексей Мельников

Беседы о литературе

Александр Радищев

Имена первого и последнего русских революционеров сошлись в на редкость нереволуционном Калужском крае. И тот, и другой прожили яркую, не лишённую взлётов и гонений, жизнь. Ходили в больших чиновниках. Пребывали в опале. Вступали в яростные схватки с российскими бесчинствами. Писали неугодные царям. Получали всемилостивейший отлуп. Награждались арестами. Прожили по полвека с небольшим. Оба плохо кончили: один принял яд, другой – пулю.

Под Малоярославцем, что в Калужской губернии, первый русский революционер Радищев рос и набирался разума в местечке, с провидческим наименованием в память – Немцово. Они не встретились в жизни. Но обнялись на географической карте. Может быть, сойдутся в учебниках русской демократии. Пусть не нынешних учебниках (коих пока просто нет), но будущих – наверняка.

Советским людям автор «Путешествия из Петербурга в Москву» запомнился разве что эпиграфом к сему обвинительному акту наших самодержавно-крепостнических непотребств: «Чудище обло, озорно, огромно, стозевно и лайй». Впрочем, не Радищеву принадлежавшему, а Третьяковскому. Что же конкретно написал сам Александр Николаевич в своём оскандалившем Русь «Путешествии...», мало, кто знал раньше, ещё меньше интересуются сочинённым дерзким выходцем из калужской помещицкой семьи сейчас.

Сегодня Россия вновь затосковала по самодержавию. Посему имя Александра Радищева – одного из первых его разоблачителей, буревестников демократии – у нас не чтят. Особенно – в родовом гнезде писателя, архаичном до уровня политической палеонтологии – Калужском крае. Ни памятников этому «честному человеку» (Н.М.Карамзин), «рыцарски совестливому» (А.С.Пушкин), одному из «наших пророков» (А.В.Луначарский), «сочувствователю страданиям масс» (А.И.Герцен), ни иных новейших упоминаний о нём у нас не сыщешь. Старательно забыт.

«Я взглянул окрест меня – душа моя страданиями человеческими уязвлена стала», – оправдал свою сагу о «не той» Руси болезненно совестливый автор. О её холодном неуюте. О неприкаянности в неуюте том. «Ужели сия грозная мачиха произвела нас для того, чтоб чувствовали мы бедствия, а блаженство никеле?» Перчатка, брошенная Радищевым в лицо власти придержащим, была поднята самой Екатериной II: та быстро возжелала вышедшего из доверия пажа, недавно ещё посылаемого ею на учёбу в Лейпциг, сего невоздержанного умника повесить. Но в последний миг разжалобилась и сослала на 10 лет в Сибирь. Как автора книги, «наполненной разными дерзостными изречениями, влекущими за собой разврат, неповиновение власти и многие в обществе расстройство».

«Удаляйтесь, елико то возможно, даже вида раболепствования», – нёс со страниц своего либерального манифеста антифеодальную крамолу радикал вышедший из села Немцово. «Не дерзай никогда исполнять обычая в предосуждение закона. Закон, каков ни худ, есть связь общества. И если бы сам государь велел тебе нарушить закон, не повинуйся ему, ибо он заблуждает себе и обществу во вред», – в прежней России, равно как и в нынешней мысли зловредные. Правовое государство нам по-прежнему не грозит.

Трудно представить, что кто-нибудь бы из главного чиновничества в России осмелился бы сегодня цитировать Радищева. Или – обсуждать: ставить ли ему памятники и где. Равно как никто не учреждает в вузах (даже на месте истоков его рода в казённой Калуге, или –

в суперлиберальной ВШЭ в Москве) стипендии имени А.Н.Радищева, гранты и т.д. Боязно – «судимость» с автора по сию пору в России не снята. Даже, может быть, с его трудов совсем не политических, почти что краеведческих с примесью аграрных.

«Едва жизнедательною своею теплотою солнце начинает сгонять мертвую, но плододельную в Северных краях седину зимы, как начнет в земледельце, а паче в России, возникать некая благая работливость; ибо зима, поражая преходящую смертью Природу, отъемлет у земледельца, хотя частью, его деятельность», – даёт в «Описании моего владения» поэтизированный зачин своему уникальному исследованию крестьянских будней села Немцово его владелец, искренне сочувствующий местным землепашцам Александр Радищев.

Сколько раз пахать под ячмень, сколько под овёс, сколько под горох? Сколько телег навоза полагается на десятину? Когда сподручней начинать сенокос: на Петров день, или немного после? Когда высаживать рассаду капусты? Когда огурцов? Чуткому до мужицкого призвания Радищеву до всего было дело. Каков капитал в свиньях? А в лошадях? Что за прибыль от озимого хлеба? А что от ярового? На каждого из селян посчитать доход за год. Прибавить цену рукоделий мужских и женских. Мало? Заглянуть под ноги – в недра. Исчислить богатства, что таятся там.

Вернувшийся уже из сибирской ссылки к себе в калужское Немцово автор дерзкого «Путешествия...» с прилежностью гимназиста конспектирует поминутно и пошагово будни своих трудолюбивых земляков. Ищет в них ускользающую, как правило, от алчных крепостников экономику, рынок, зачатки свободного и эффективного труда на земле. А в целом – проникается высоким духом будущего крестьянства, высвобождающегося из крепостнических пут. В советское время родовое село его скрупулёзного летописца переименуют в честь автора. В село – Радищево.

«Описание моего владения», – это кладезь краеведения, экономики, аграрной культуры, истории обрядов и нравов на селе. Увы, кладезь по сию пору не востребованный: ни в стране в целом, ни на родине ценнейших записок – в Калужском крае. Наверное, потому что сочинены не «матерью нации» Екатериной II. Иных героев конца XVIII века в по-новому монархической России сегодня упоминать не принято. Тем более, столь вопиюще вскрывающих нарывы самодержавия на измученном сим политическим фурункулёзом теле страны.

Александр Радищев остаётся в России непротчёмным. Хотя и не запрещённым формально, на замалчиваемым по существу. По умолчанию готовящимся к отправке в историческое забытьё. Потому что стесняет вольность нравов новых крепостников. Колет глаза нестареющей правдой. Смущает. Вгоняет в краску тех, кто давно уже в России разучился краснеть. Не даёт развернуться во всю самодержавную ширь. Во всю патриотическую удаль. Сидит крепкой занозой в пятке новых монархов, не давая им слишком уж бойко маршировать в пропасть.

Гавриил Державин

Пушкин назвал его «чудаком, не знающим русской грамоты». Считал, что, максимум, «од восемь его надо оставить, остальное сжечь». Император Александр I в сердцах подтвердил отнесённое на его счёт – «горяч и в правде чорт». И передел из министерского мундира в домашний халат. Знаменитый губернатор-взяточник Лопухин едва не доконал поэта-разоблачителя доносами. Полгода следствия и сомнительная честь инспектируемой Державиным Калуге прослыть столицей российской коррупции. Обошлось: поэта-правдоруба оправдали, обворовавшихся Калугу и Лопухина... тоже.

Его стихи (оды) не декламируют со сцены. Давно не переиздают. Неизвестно – «проходят» ли в школе, включают ли в сочинения для ЕГЭ. Не называют его именем улиц, школ, библиотек. Правда, есть в России названный в его честь университет. Может быть, даже два... Но в целом – забвение. Общий приговор: «тяжёлый» слог, «загромождённая» лексика, «высокопарность», «пышность» и т.п. Да и сам Александр Сергеевич к сему руку приложил... Короче – «вышел из моды». Хотя и остался в истории. Выйти из неё Гаврилу Романовичу Державину уже никак невозможно. Поскольку он и есть та самая история: человека на тверди земной и духа, над всеми парящего...

...Твоё создание я, создатель!
Твоей премудрости я тварь,
Источник жизни, благ податель,
Душа души моей и царь!
Твоей то правде нужно было,
Чтоб смертну бездну преходило
Моё бессмертно бытие;
Чтоб дух мой в смертность облачился
И чтоб чрез смерть я возвратился,
Отец! – в бессмертие твое...

Он прожил потрясающе насыщенную жизнь. Из ничего вылепил в себе историческую фигуру. Из полунищего провинциала – сенатора. Из ученика безграмотного солдата – литературного классика. Заядлый картёжник, нежный сын и супруг, суровый гонитель пугачёвщины, отважный защитник жертв беззакония, расчётливый царедворец, каратель взяточников, слагатель льстивых од и безгранично талантливых посланий, познавший царскую любовь и её же опалу, изваявший, даже отливший чуть ли не в бронзе литературный русский язык и получивший за то пушкинский «выговор», якобы, «дурного перевода с чудесного подлинника» – всё это и есть Гаврила Романович Державин.

Не напиши он ни строчки, держава всё равно бы узнала Державина. Но он написал, и история России и русского языка прочертила его сильную траекторию, может быть, и не отдавая себе в этом отчёта, то и дело воспарял над ней в порывах более лёгкой словесности. Та обладала, безусловно, массой достоинств, кроме одного, краеугольного, державинского – гравитации. Той самой тяжести, («свинцовой», как упрекал своего великого предшественника великий Пушкин), что придавливает поэтические строфы к земле, сообщая им необходимую устойчивость и отнимает звуковую невесомость, что так желанна стала в стихах впоследствии.

Глагол времён! Металла звон!
Твой страшный глас меня смущает;

Зовёт меня, зовёт твой стон,
Зовёт – и к гробу приближает.
Едва увидел я сей свет,
Уже зубами смерть скрежет,
Как молнией, косою блещет,
И дни мои, как злак сечёт...

«Тяжесть» державинского стиха осязаема. Увесистость. Объём. Форма. Цвет. Строфы точно не из-под пера, а высечены из камня. Выисканы глубоко в недрах. Отколоты от гигантских льдов. Упали из метеорных потоков. Иные точно слышаны в грохоте водопадов, орудейной пальбе или даже – победных салютов...

О росс! О род великодушный!
О твердокаменная грудь!
О исполин, царю послушный!
Когда и где ты достигнуть
Не мог тебя достойной славы?
Твои труды – тебе забавы;
Твои венцы – вокруг блеск громов;
В полях ли брань – ты тмишь свод звездный,
В морях ли бой – ты пенишь бездны, –
Везде ты страх твоих врагов.

«Образы и слова, – писал о Державине В. Ходасевич, – он громоздил, точно скалы, и, сталкивая звуки, сам упивался их столкновением». «По существу, – продолжал рассуждения о великом стихотворце Ю. Айхенвальд, – эта громкая поэзия отражает в себе как личные настроения самого Державина, так и психологию и даже физиологию блестящего века Екатерины. Её певец, он сумел внутренне объединить на своих страницах то, что относится к ней, к её царствованию, с тем, что составляет его именную субъективность».

Впрочем, сверкающий металлическим отливом, увесистый, тягучий стих Державина обязан был не одному лишь громогласию эпохи героини его бессмертной «Фелицы», но и движению поэтической музыки куда менее политизированному и сиюминутному. А именно: обусловленному как самой природой русского языка, так и секретами души его носителей. В великой оде «Бог», почти десятилетие томившейся на письменном столе поэта, державинская форма стихосложения обрела-таки непоколебимое алиби: о Всевышнем сподручней изъясняться могуче, увесисто, зримо, ни на миг не допуская сомнения в присутствии Создателя.

О ты, пространством бесконечный,
Живый в движеньи вещества,
Теченьем времени превечный,
Без лиц, в трёх лицах божества!
Дух всюду сущий и единый,
Кому нет места и причины,
Кого никто постичь не мог,
Кто всё собою наполняет,
Объемлет, зиждет, сохраняет,
Кого мы называем: бог.

Державинско-пушкинская развилка русской поэзии обозначила два её главных вектора: первый ближе к скульптурному, пространственному, осязаемому, некоему прообразу 3d, дополненному лексической гравитацией, и подчиняющийся тяжеловесной вселенской круговерти; второй вектор – скорее мелодичный, лёгкий, трудноуловимый, стремящийся туда, где веса нет, а заодно – пространства тоже, тот самый «пух из уст Эола», не празднующий в законах физика ничего путного, кроме, пожалуй, одного. А именно – привычки к гениальной невесомости...

Александр Герцен

Самый знаменитый неизвестный, самое громкое из забытых имён, наиболее талантливый из всех недооценённых гениев, невпопад растиражированный, незаслуженно поносимый, неизбежный и неуловимый в изучении одновременно, провидец, романтик, философ, бунтарь и яркий стилист – всё это русский Гомер века XIX, нерв эпилептического века XX и горечь прозябания века XXI – Александр Герцен.

В каждом городе, наверняка, есть улица его имени. На нашей одно время даже был ресторан. Он так по революционно-демократическому и назывался – «Герцен». В нынешние «ню-самодержавные» времена его закрыли. И переквалифицировали в кавказскую шашлычную. Саму улицу переименовывать не стали – она и так достаточно коротка. К тому же пересекается с другой – родственной по духу – Огарёва. Так что менять таблички пришлось бы сразу на двух. Накладно...

Интересно всё-таки, что было в этом ресторане. Бифштексы? Осетрина? Ром? Или всё-таки аккуратно разложенные по столикам главы «Былого и дум»? «В Ватикане есть новая галерея, – читаем у лучшего русского мемуариста, – в которой, кажется, Пий VII собрал огромное количество статуй, бюстов, статуэток, вырытых в Риме и его окрестностях. Вся история римского падения выражена тут бровями, лбами, губами...»

Вся история заката самодержавия на Руси выразилась в герценовской эпопее столь же характерным образом: «бровями, лбами, губами...» Плюс – позами, ужимками, привычками, голосами... «Сергей Глинка, “офицер”, голосом тысяча восьмисот двенадцатого года, густосиплым, прочел свое стихотворение...»

Я не видел ещё ярче и сочнее ремарки относительно примет эпохи наполеоновского нашествия: «голосом тысяча восьмисот двенадцатого года...» В нём прослушивается и бородинская канонада, и хриплый окрик командиров на гренадёрский строй, и густое лошадиное ржание из-под гусарских шпор, и прокашливание солдатского мундштука на привале, и даже самый запах едкого окопного табака вот-вот ударит в нос со страниц герценовской эпопеи.

История в ней порой сжимается точно материя в нейтронной звезде – до плотности невероятной. Один сочный мазок – и выписана суть столетних хитросплетений судеб российских прим. Той же первопрестольной. А за ней – и державы в целом. «Москва, по-видимому, сонная и вялая, занимающаяся сплетнями и богомольем, свадьбами и ничем – просыпается всякий раз, когда надобно, и становится в уровень с обстоятельствами, когда над Русью гремит гроза. Она в 1612 году кроваво обвенчалась с Россией и сплавилась с нею огнем 1812. Она склонила голову перед Петром, потому что в звериной лапе его была будущность России».

Меткие исторические реминисценции у Герцена почти всегда перерастают в пророчества. В этом его величие. В этом наша беда: «в звериной лапе его была будущность России...» Как в воду глядел: иным образом в будущность Россия входит так по сей день и не научилась.

Интересно, что было бы с русской историей, да и страной в целом, займись Герцен работой «по специальности»? Дипломированный астроном, выпускник естественного факультета МГУ, искусный кристаллограф, короче – талантливый физик, а наверняка в будущем – и педагог, мог бы вполне украсить своим портретом галерею выдающихся естествоиспытателей московского университета. И занять vip-ложу в истории российской науки. Ан, нет: променял оную на историю самую.

Герцен не вошёл в историю, русская история вошла в него и обрела голос. Впрочем, не всегда благозвучный, иногда срывающийся в напряжении голосовых связок на крик и фальцет, но всякий раз слышный и различимый издали. Что не мешает, впрочем, внутри себя этому голосу не прислушиваться и тщетно искать исторических благозвучий там, где за них по малодушью принимают уютную немоту.

Оцените, насколько современны и актуальны герценовские мысли и наблюдения, сделанные им полтора века назад. Как будто это о нас – о современной России.

“Шёл с благородными стремлениями и завязанными глазами”.

“Люди для мундира”.

“Цензоры качали головой, читая притчи Христа”.

“Проповедовать с амвона, увлекать с трибуны, учить с кафедры гораздо легче, чем воспитывать одного ребёнка”.

“Почётные ничтожества”.

“Правительствующая полиция”.

“Дети его были крещены в православную веру, то есть не имели никакой”.

“Броситься в отчаянное православие, в неистовый славянизм, если нет желания пить запоем, сечь мужиков или играть в карты”.

“Славянизм, или русицизм, не как теория, не как учение, а как оскорблённое народное чувство, как тёмное воспоминание и верный инстинкт, как противудействие исключительно иностранному влиянию существовал со времени обриту первой бороты Петром I”.

“Появление полицейского в России равняется черепице, упавшей на голову”.

“Централизация может многое сделать для порядка, для разных общих предприятий, но она несовместна с свободой, ею легко народы доходят до положения хорошо бережёного стада или своры собак, ловко держимых каким-нибудь доезжачим”.

Александра Смирнова-Россет

Гоголь приезжал сюда в поисках «живых душ» – писать второй том «Мёртвых...». Каждое утро я мету под его окнами опавшую листву. Впрочем, окон не сохранилось. И дома – тоже. Но листва... Мне кажется, она помнит их шаги.

На этом месте была губернаторская дача. Очень давно. Когда вокруг них ещё не ставили каменные ограды. У четы Смирновых таких точно не было. Гоголь жил в их домике запросто. Вставал в 5. Пил по утрам кофе. Смотрел на крутые Яченские берега, на бор и садился за рукопись. Ту самую, которую потом сожжёт. На дворе стоял 1849 год.

С 1845-го Александра Осиповна была в чине губернаторши. У нас – в городе К***. Тяготилась им. Жаловалась в письмах Николаю Васильевичу: «общество испорчено навеки». Гоголь утешал Смирнову-Россет: «Вы устали – вот и всё!» И разъяснял своему задушевному другу, как бороться с усталостью. Увещевания впоследствии вылились в «Выбранные места из переписки с друзьями».

В 1849-ом приехал лично. И поселился напротив. Я имею ввиду – от меня. Каждое утро я прохожу мимо гоголевских пенат на службу. Подвизаюсь здесь же – на родине великой русской литературы. Говорят, самой великой. Но подтвердить это, увы, уже нельзя – она сожжена. Здесь, так сказать, роддом второго тома «Мёртвых душ». Но – не могила. И вообще: зачем он их назвал мёртвыми?.. Можете от того и не заладилась продолжение?..

Я почти слышу чтение таинственного второго тома. Один из самых немногих, кому посчастливилось. Поскольку – служу рядом. Гоголь всё любил держать в тайне. Изредка, правда, приоткрывая её завесу перед самыми доверенными. И в первую очередь – перед ней, умной и проницательной советчицей Смирновой-Россет. Вон там, за теми липами можно было отчётливо расслышать его голос. Вам интересно, какой он был, этот гоголевский тембр: высокий тенор или сочный баритон? Говорят, Чехов, такой интеллигентный и тонкий, разговаривал басом...

Наш город К*** не особенно знаменит губернаторами. Во всяком случае, ни один из них не был причастен к рождению великих поэм. Даже – рассказов. Может быть – анекдотов... А вот с губернаторшами – другое дело. Яркой супруге невыразительного Смирнова удалось примагнитить великие литературные творения. А за одно – и их творцов. Правда – уйти после этого в небытие: в нашем городе К*** никто нынче и не вспоминает о губернской предводительнице литературных гениев – Смирновой-Россет.

О её сердечном друге – Гоголе, впрочем, помнят. Памятник вот соорудили на месте, где Николай Васильевич гостил у губернаторской четы. И прочитал ей наиболее полный вариант уничтоженного впоследствии шедевра. Грустный какой-то памятник получился. И мрачный.

Как будто Гоголь в городе К*** не родил великую книгу, а поджёг её. И тут же умер. Но могилы Гоголя в нашем городе К*** нет. И, слава Богу. Есть, правда, рядом другая – Циолковского. Но Константин Эдуардович своими рукописями, печку не растапливал. Знал, наверное, что не горят...

Короче, в нашем городе К*** есть местечко, где ещё витает дух обнародованной здесь и, якобы, уничтоженной где-то далеко великой книги. Я каждое утро обметаю вокруг опавшую листву. Так – на всякий случай. А то явится писатель, да на пару с губернаторшей и укорят: плохо приглядывали, заботами обошли – от того и не сохранили. Не беспокойтесь, Николай Васильевич, не переживайте Александра Осиповна, сберегаем...

Иван Гончаров

Если самых динамичных и зорких русских классиков – Пушкина, Толстого и Достоевского – очень трудно представить в роли непоседливых пилигримов, отчаянных мореходов и знатных географов, то самого медлительного и неповоротливого из них, самого тяжёлого на подъём и неприспособленного к бивуачному быту – ваятеля апатичного русского феномена "обломовщины", Ивана Александровича Гончарова – представить в роли просоленного морскими ветрами и прожаренного экваториальным пеклом литературного Магеллана вполне себе даже можно.

Почему так?.. Русская загадка. 170 лет назад, взгромоздясь в Кронштадте с чемоданами на борт фрегата "Паллада", самый неприспособленный и неподходящий из всех, кто мог бы на нём отправиться в кругосветное плавание, отягощенный застопорившейся рукописью о великом лентяе Обломове, изъеденный ежедневной концелярской рутинной, столичной обывательской скукотой, до этого – купеческой негой провинциального мещанства, не написавший ещё своих главных книг, 40-летний тучный, мягкий, невоинственный русский литератор Иван Гончаров решает вдруг одолеть под парусами земной шар, не зная, впрочем, для чего он это делает.

"Если вы спросите, для чего я решил плыть, – писал он в одном из прощальных писем своим знакомым, – то я бы вам ответил так: а для чего бы я остался?.." Редко кто из наших, даже вполне великих, людей мог поставить вопрос о смысле существования так радикально: если не знаешь, зачем сидишь дома – поднимай якоря. Куда – не важно. Главное – чтобы на долго. Годами не выезжавший далее Петергофа столоначальник, не прыткий, не тёртый, не крепкий, с виду добродушный ленивый тюфяк, боявшийся в городе выйти на ветер без шарфа, а в изморозь – без калош, вдруг кидает себя в штормовые широты на скрежесем в бюро всеми своими шпангоутами фрегате, оставляет в числе пройденных один океан за другим, очередной материк – за следующим.

С равным любопытством и кропотливостью ревирует пристальным писательским оком и мускулистый Портсмут, и кукольную Мадеру, самый краешек земли – Мыс Доброй надежды в Африке – и самый пуп ее – Лондон в Европе. Окунается в Китай, в Малайзию, в Японию, на Филиппины, в Сингапур. Стынет в Якутии, чешет на перекладных через всю Сибирь. Мотается вдоль и поперек земных широт долгие два года. Чтобы по возвращении в столицу вновь сесть за канцелярский стол в постылом департаменте, а дома – за отставленную на два года рукопись о возлежащем в мечтательной прострации русском тюфяке Обломове. И написать о нем так, что каждый русский смог угадать в нём родственные гены. То есть так хорошо написать, что можно было бы и чуть похуже.

О чём, кстати, впоследствии пытался сожалеть и сам автор, предупреждая в одном из писем Льва Толстого в том, чтоб тот начинал читать "Обломова" не с первой части (самой, как назло, литературно совершенной), а сразу со второй (где прозябанию героя виден хоть какой-то выход). Да и не раз в задумках Гончарова проскальзывала мысль пустить своего глав-

ного литературного героя тем же маршрутом, что прошёл он сам. Порастрясти лень. Стряхнуть унылость. Но думал-думал и почему-то не пустил. Мечта о написании отдельной саги "Путешествие Обломова" так и не реализовалась. Что выложило кучу козырей в умелые руки тех, кто вылепил впоследствии из сочиненного Иваном Гончаровым обаятельного образа ругательство "обломов".

Из всех великих романов Гончарова самым выдающимся остался тот, что так и остался не написанным. О том, кто был и есть и кем бы мог бы быть на самом деле любимый всеми и жалеемый до слёз Илья Ильич. Хотя возможно всё в нём угадалось автором сполна и так. Да не всё из этого нам удалось расшифровать впоследствии как должно...

Николай Федоров

Гагариных оторвалось от Земли на самом деле двое. Старший и младший. Первый прежде нащупал дорогу в космизм. Второй уже век спустя – в космос. Первооткрывателем значился Николай. За ним уже потянулся Юрий. Оба – из российской глубинки: Тамбовской да Смоленской. Космос, стало быть, оттуда видней. Ближе – так, что ли. А может – и не ближе... Разве что ключ от него именно в Тамбовских Ключах и обнаружился. В самом, что ни на есть русском захолустье. Здесь в 1829 году и удосужился появиться на свет первый русский космист Николай Федоров (фамилия по крестному отцу). Он же – незаконнорожденный сын князя Гагарина. Звездная фамилия еще вон когда позвала к звездам...

Про него мало, что доподлинно известно. Хотя жил страшным скромником и библиотечным анахоретом не так уж и давно – практически вровень с Толстым. Даже был временами с ним накоротке. Во всяком случае – до богохульных выходов графа. Притягивал своей философией воскрешения Достоевского и Владимира Соловьева. Вдохновлял космо-утопией вечной жизни Циолковского и Пастернака. Эхом радости от оживления всех предков до единого отдавался в брюсовской «Невозвратности» и платоновском «Чевенгуре». Каким-то чудом узаконился даже в русском авангарде. Точнее – угадался в контурах теней, отбрасываемых на революционное искусство то ли Шкловским, то ли Малевичем, а то – и самим Владимиром Владимировичем Маяковским. Да и, выясняется, иные фильмы Сокурова – 100-процентный федоровский мотив. А именно – воскрешения павших...

Суть всего лишь в легкой оппозиции: воскресение или воскрешение? Но легкой ли?.. На место традиционного для христианства трансцендентного воскресения в день страшного суда русский философ Николай Федоров ставит всеобщее воскрешение из мертвых. Без избранных.

Без разделенных, как принято в религиозной традиции, на тех, кому – в ад мучиться, и тех, что – в рай лицезреть. Ибо – только человеку, как считает русский Сократ, дано спасти мир от энтропийной разрухи. То бишь – от хаоса, к которому приговорена Вселенная слепой природой. Её, эту природу, Федоров тщится поставить на путь истинный. Путь этот должен указать человек. В нем, как считает, библиотечный мудрец, Всевышний спрятал главный запал дальнейшего развития Вселенной.

Как, впрочем – и его самого, человека, двигателя Вселенной. То есть – его преобразование. В первую голову – нравственное, оплачиваемое по самому высокому курсу: возвратом ссуд на жизнь всем, кто выдал тебе их ранее. То есть – воскрешением отцов из мертвых. Как? Лучше не спрашивайте. Точнее – попробуйте принять необходимость этого постулата на веру. А о реализуемости поговорим после...

Итак: главный враг человека – это смерть. А с врагами надо бороться. Всем миром. Даже больше, чем всем – живыми и павшими, которых для этой борьбы, Федоров, предлагает воскресить. Иначе не исполнится божественное предназначение человека. Ему не сбыться. Не бывать самим собой. Точнее – тем, каким его хотел бы видеть Всевышний. Найдено главное дело для каждого на земле. Общее для всех. Борьба со смертью. За воскрешение и преобразование. Федоров именно так и озаглавит потом свой краеугольный труд – «Философия общего дела».

Дело это, понятно, не только земного масштаба. А больше – космического. Если угодно – астрофизического, когда границы затеянного выпирают далеко за обозримый горизонт, уносясь к бесконечным звездам. И «общему делу» уже тесен человек как таковой, его усовершенствование вплоть до нескончаемости. «Делу» нужна Вселенная в целом. Ибо без преобразовательной деятельности человека она пропадет. Звезды застынут, как толкует физика. Скажем, – тоже второе начало термодинамики. Дабы космос «согреть» – потребно человеческое дыхание. Цивилизация. Разум. И – смертный приговор физиков для остывающей Вселенной может быть

оспорен. Отменен. Надо лишь, как увещевал Федоров, навалиться всем миром. Даже больше, чем всем: миром по ту сторону жизни и по эту. Короче – стереть между этими мирами грань.

Мудрец сетовал на неродственность и небратство. Всё раздираемо противоречиями. Кипит вражда и грохочут войны. Причины – больше природные. Те, что сотворены нерегулируемым космическим хаосом и отпечатком легли на род людской. Посему – природе, космосу нужен опытный поводырь. Дабы те перестали искушать несовершенных человеков: ссорить их и вводить в гнев. Несовершенства, таким образом, должны улечься. Люди – поумнеть. Космос – облагородиться.

Русский космизм, званный в этот мир "первым" Гагариным – философом Николаем Федоровым – взял на себя роль пастора звезд и галактик. Духовника квазаров, пульсаров и черных дыр. Планет – в частности. Земли – в том числе. Всего, на что падает взгляд в верх. Туда, где человеку дано навсегда остаться самим собой. То есть – творимым и творцом.

Пушкин и Гончарова

Если весь мир воспринимает Пушкина через сияющий хрусталь его божественных стихов, то есть место на карте, где угол зрения на творчество гения слегка смещен и несколько размыт вуалью его обворожительной супруги.

Родившись в 30 верстах от города Тамбова, большую часть жизни проблистав в столицах – Петербурге и Москве, проторив пути в Берлин, Женеву, Ниццу, Дрезден, Бонн и Вятку, Наталья Гончарова, тем не менее, причислена в Калуге к землякам, хотя именно в этом городе она сияла на балах довольно редко, а более всего держалась родовых корней, что были 25 верстах от центра тамошней провинции – в местечке Полотняный завод, что славилось бумажно-парусиновой мануфактурой, на которой гнули спину на семейство Гончаровых 12 тысяч местных батраков.

Именно этот историко-географический факт в биографии любимой внучки промотавшего свои полотняно-заводские миллионы деда – Афанасия Гончарова – стал постепенно ключевым в восприятии в калужских весях личности и творчества её великого мужа. Калуга стала смотреть на Пушкина исключительно через помпезные въездные ворота в полотняно-заводское имение семьи своей возлюбленной, полагая, видимо, что "калужский фактор" стал в самый плодотворный период жизни гения почти определяющим и не будь его, неизвестно ещё, прочли бы мы главные его творения, без коих сегодня немислима вся русская словесность.

Отчасти такая точка зрения имеет место быть, ибо та же "болдинская осень" случилась в творчестве поэта не без влияния родственников будущей жены, конкретно – держателя полотняно-заводских миллионов (а, следовательно – приданого 18-летней красавицы Натальи) экспрессивного и малорационального деда Афанасия, не нашедшего ничего лучшего, как предложить поэту в качестве приданого невесты уродливую 600-пудовую бронзовую статую Екатерины II, что годами пылилась в подвале полотняно-заводского дворца Гончаровых. Поняв, что деньги на приданое невесте придется добывать самому и затем одалживать их теще, Пушкин устремляется в своё Болдино для перезакладки имения и оформления ссуд, из которых планирует выделить родственникам жены 11 тысяч. На беду (а может и совсем

наоборот) оказывается надолго запертым в своем имени эпидемиологическим карантинном и от избытка навязанного свыше досуга творит бессмертные стихи.

Малая, если так можно выразиться, родина жены поэта всегда ревниво относилась к пушкинской теме, полагая, что любовь поэта к своей избраннице должна обязательно распространяться и на веси, связанные с ней. Поэтому в Калуге издавна сформировалась партия, стойко исповедующая идеологию неперемного пребывания Пушкина в самой Калуге. Обоснование – всего одна начальная строка из "Путешествия в Арзрум": "...Из Москвы поехал я на Калугу, Белёв и Орёл..." Впрочем у этой точки зрения нашлись и оппоненты, указывающие на нетождественность предлогов "на" и "в". Тем более, что никаких иных документальных доказательств посещения заповедника провинциального купечества великим русским поэтом не обнаруживалось. И тот, скорее всего, прокладывал маршруты в имение родственников прекрасной Натали в обход Калуги. Так короче.

Тем паче в остроумно-назидательных письмах своей супруге всякий раз выводил метящую ей в приемные матери Калугу в довольно неприглядном свете, ставя её по уровню мещанского прозябания на самые высокие места. Почти что вровень с Москвою. И настоятельно не рекомендовал Наталье Николаевне губернские увеселения. К коим, как следует из тех же писем, она, видимо, была весьма предрасположена.

По той ли причине, а может, как раз в унисон иной, высказанной ранее в адрес Калуги её выдающимся супругом, но губерния и по сей день скупится на увековечение памяти своей блистательной землячке, на протяжении последних вот уже трёх десятков лет так и не решившись установить в Калуге памятник неподражаемой супружеской чете. Уже практически готовый, но так и не получивший одобрения калужского обывателя на место его прописки в границах областного центра. Якобы для захолустного сегодня Полотняного завода – родового гнезда Гончаровых – он чересчур значителен, а для Калуги – ядра губернского величия – излишне шаловлив.

"Приемная мать" прекрасной Натали – старо-, а теперь уже и новокупеческая Калуга – считала и считает Пушкина, пожалуй, даже более своим, нежели его законную супругу. Последняя всегда упоминается в контексте "мужчиной жены", хотя – и с полным арсеналом всяческих супружеских достоинств, без которых, по мысли местного истеблишмента, никак нельзя числиться в высоком ранге первой леди русской словесности. Отсюда – и защитная позиция в непрекращающихся по сей день известных кривотолках на счёт Натальи Николаевны: "виновна или нет?" Надо отдать должное принявшей на себя роль отчего гнезда Калуге сомнений в праведности пушкинской избранницы здесь никогда не допускалось...

Константин Паустовский

Паустовского я полюбил поздно, но молниеносно. Не в школе, не после, а только сейчас. Вдруг – как ударило током. С опозданием, но – пускай. Точно помню: это были «Караси» из его «Повести о жизни» – великой, как оказалось, но малознаменитой саги о былом. «Он (карась) лежал на боку, – вытаскивал из закоулков своей необъятной памяти первую детскую рыбалку маэстро, – отдувался и шевелил плавниками. От его чешуи шёл удивительный запах подводного царства. Я пускал карася в ведро. Он ворочался там среди травы, неожиданно бил хвостом и обдавал меня брызгами. Я слизывал эти брызги со своих губ, мне хотелось напиться из ведра, но отец не позволял этого».

Вот именно с этого места – «слизывал брызги со своих губ...» – всё и началось. Я понял, что испытывал многолетнюю жажду. Но не догадывался о том. А только – теперь, когда неожиданно ощутил живительную влагу поэтической прозы на пересохших губах. И тут же не преминул припасть к её первоисточнику. «Мне казалось, что вода в ведре с карасём и травой должна быть такой же душистой и вкусной, как вода грозových дождей, – писал, как дышал мэтр. – Мы, мальчишки, жадно пили её и верили, что от этого человек будет жить до ста двадцати лет. Так, по крайней мере, уверял Нечипор...» Я верю: ровно до ста двадцати, а может, и с гаком. Клясться, впрочем, не заставляйте, но от нечипоровой веры не отрекусь...

Белая Церковь с карасями – увы, увы... Мещора, признаюсь, сподручней будет. Короче, как-то летом я усадил жену и детей в машину и покатил туда: Спас-Клёпики, Тума, Касимов, Гусь-Железный, Гусь-Хрустальный, озёра (сплошь Великие, других названий здесь почти нет), болотца, речушки, сотни вёрст комариных угодий (выдолбленного где-то под Спас-Клёпиками из огромного дерева комара так и нарекли – Хозяин Мещоры), черника, лисички и томик Константина Георгиевича в бардачке. Плюс – схема проезда до тихой Солотчи. Из этой грохочущей автомобильным железом Рязани. Проспекты, светофоры, пробки, выезд из города, мост, Ока – и вот уже сумерки. Спешно мимо. Солотча не открыла своих писательских тайн, загадочно прошумев прибрежными кронами за окном. А я так ждал...

Или – задним числом к морю. К Чёрному – учиться у Паустовского распознаванию духа морского. Чем пахнут, например, волны? «Подлинное ощущение моря, – проповедовал Константин Георгиевич, – существует там, где морские запахи окрепли на длительной и чистой жаре. К примеру, в Ялте этих запахов почти нет. Там прибой пахнет размякшими окурками и мандариновыми корками, а не раскалёнными каменными молами, старыми канатами, чабрецом, ржавыми минами образца 1912 года, валяющимися на берегу, пристанскими настилами, поседевшими от соли, и розовыми рыбацкими сетями...» Вы знаете, чем пахнут ржавые мины образца 1912 года? А розовые (именно розовые) рыбацьи сети? Я тоже не знаю, но стараюсь разгадать. Потому что иначе никогда не познаю душу морских глубин и выскакивающих из этих глубин на жаркое солнце просоленных причалов.

Или – Таруса. Сёстры они с той же Солотчей. Родные или сводные – как посмотреть. Родные по Оке, сводные по Паустовскому. Если море рядом с писателем прошло, Ока навеки рядом осталась – в обнимку с тарусским крутояром, подпирающим на своих плечах тихий городской погост. Отец на нём и сын – тоже. Недалеко. Рядом.

А ещё выше по реке – Калуга. Правый берег Оки – Дворики Ромодановские. Я сижу в уютном домике фотографа Сергея Денисова. На старом диване. «На нём Паустовский

отдыхал, – между прочим роняет Сергей Петрович, роясь в коробках со старыми негативами, – когда в гости к нам приходил». Я невольно опускаю ладони на потертую обшивку. Медленно провожу по ней, точно глажу. Откладываю старые фотографии в сторону и закрываю глаза. Вот скрипнет калитка, откроется дверь, и войдёт он...

Александр Чехов

Он же – господин Седой, или некто Гусев, также – велемудрый секретарь, журнальный лилипут, алкоголизм, инфузория, владыко, голова садовая, или проще – безнравственный брат, бедный родственник. Или – совсем просто: ненастоящий Чехов... Столькими именами (впрочем, это только часть их) удостоил своего фантанирующего талантами и всяческими безрассудствами старшего брата наиболее привязанный к нему из чеховского клана средний брат Антон. Александр Чехов – самый гениальный, как утверждают многие чеховеды, из семьи великого русского писателя. Может быть, даже способней самого Антона Павловича. Не исключено, что так...

Столькими талантами одарила его природа, что трудно их все сразу и пересчитать. Впрочем, счет этот надо всякий раз удваивать: на каждую Богом данную искру бурлящая натура Александра Чехова ответствовала прямо противоположным затмением дьявола. Во всяком случае, ни одно из уникальных дарований Александра, могущее его превратить хоть в масти того химика, хоть в знатного лингвиста, или, скажем, из противоположных отраслей – орнитолога, музыканта, повара, художника, мецената – ни одно из них, повторяем, не реализовалось в полной мере и позволило себя попать по сути одной непобедимой на Руси напастью – алкоголем.

«Ненастоящий Чехов! – по установившейся между братьями традиции иронизировать в очередной раз адресуется в письме к своему «проблемному» старшему брату Антон. – Как Вы себя чувствуете? Пахнет ли от Вас водочкой?». Последняя, с небольшими, в общем-то, перерывами была своеобразным фоном существования даровитого первенца чеховского семейства. Александр первым из Чеховых пробил дорогу из заштатного Таганрога в столицу. В Московский университет. Естественное отделение: математика, физика, химия – энциклопедические наклонности Александра пришлись тут как нельзя кстати. Он научился разбираться во всем. Впрочем, неутомный нрав и тяга к бахусу не дали этим наклонностям выкристаллизоваться во что-либо путное – Александр то и дело менял курс, перескакивая с одной специальности на другую. Бурлил. Метался...

Первый из невероятно писучих Чеховых стал публиковаться. Проторил дорожки в массу газет и журналов. За руку повел вступившего позже на эту стезю брата Антона. Напутствовал и поучал по первости зеленого еще тогда сочинителя. Вскоре Антон сам уже стал устраивать в письмах мастер-классы старшему, чрезвычайно талантливому, но разбросанному по жизни Александру. «Подчеркни ты, сильный, образованный, развитой, то, что жизненно, что вечно, что действует не на мелкое чувство, а на истинно человеческое чувство, – наставлял Антон на литературный путь Александра. – Ты на это способен... Ведь ты остроумен, ты реален, ты художник... Умеешь так хорошо смеяться, язвить, надсмехаться, имеешь такой кругленький слог, перенес много, видел чересчур много... Эх! Пропадает даром материал... Из твоего материала можно ковать железные вещи, а не манифесты. Каким нужным человеком можешь ты стать!»

Старший прислушивался к младшему. Даже будучи семейным. Даже пережив смерть дочери, смерть жены, вдовец с двумя малыми хулиганами на руках, избороздивший в поисках куса хлеба скучнейшие таможенные ведомства российских окраин, не особенно успешно призраивавший свои рукописи в журналы, переполненный взрывными идеями и их скорым фиаско, регулярно уходивший в запой, между которыми успевавший совершать благородней-

шие поступки, вроде учреждения приюта для таких же как он бедолаг – алкоголиков, от чрезмерных возлияний внезапно ослепший и чудом прозревший вновь, обретший второй брак, родивший в нем третьего сына, гения – Михаила – всё равно этот Сашичка, как ласково звал своего старшего брата Антон, всегда с нетерпением ждал от того писем. И нередко исповедовался Антону (и только – ему) сам.

«Возьми на себя труд проследить мою жизнь, – объясняется Александр в одном из трехсот написанных Антону потрясающих по стилю, меткости и глубине посланий. – Что она мне дала? До 20 лет порка, замки, «без пороса», лавка, прогулка в казенном саду, как именины, как благодетель, ниспосланная откуда-то свыше. Студенческие годы – запуганность, вечный страх III Отделения, подавленность от «без парасей» и Крайзлеров. Шатанье с факультета на факультет и полное незнание жизни. Строгий запрет дома, свобода шататься по Москве..., пивные экскурсии, братья Третьяковы и, наконец, – естественник, основательно изучивший химию, никому не нужный...»

Собственно, невостребованность, нереализованность такой мощной природы, как Александр Чехов и стала главной темой жизни старшего брата великого писателя. Пожалуй, единственным серьезным поприщем, на котором Александр сумел обессмертить свое имя и достичь соответствующих своему таланту высот, стали письма младшему брату Антону. Любимейшему корреспонденту. Тот в свою очередь, не мог обойтись без переписки со своим «непутевым», но умным, честным и чрезвычайно порядочным родственником. Способным также преподнести уроки житейской мудрости ставшему уже при жизни великим Алтон Палчу.

«У тебя позеленела шляпа и отвалились подметки, – глубоко вздыхает в письме более преуспевающему, но, тем не менее, столь же душевно неустроенному брату старший – Александр, – а у меня до сих пор ни белья (самого необходимого), ни приличного костюма, ни сапог, ни пальто. Всё это в порядке вещей. Но всё это не беда: хуже всего то, что нравственный мир не в порядке. Ты пишешь, что ты одинок, говорить тебе не с кем, писать некому... Глубоко тебе в этом сочувствую всем сердцем. Всею душою, ибо и я не счастливее тебя. Когда-то и я бился, как птица в клетке, но потом гнойник как-то затянулся. У меня тоже нет друзей и делиться не с кем. Тяжело это, очень тяжело, но ничего не поделаешь».

Оба брата были, по сути, одиноки в кружащей их людской канители. Старший Александр – в многолетней редакционной нововременской кутерьме, в хлопотах по семье и безуспешных исканиях душевного уюта. Одиночество младшего Антона, по сути, было схожим – только в гораздо более крупных масштабах, а потому тщательней скрываемое, нежели у бесшабашного любимого родственника. Они искали друг друга. Искали всю жизнь, которая подчас их разводила на недолгий срок. Но вскоре вновь сказывалась сердечная привязанность, и долгий диалог двух великих собеседников продолжался.

«Кто бы мог подумать, что из нужника выйдет такой гений? – искренне радовался очередному талантливому сочинению беспутного брата смешливый и проникательный Антон. – Твой последний рассказ «На маяке» прекрасен и чуден. Вероятно, ты украл его у какого-нибудь великого писателя... Ослепительная искра во мраке невежества! Умное слово за 30 глупых лет!..»

Эти «глупые», как определил их Антон, годы особенно резко контрастировали с теми искрами таланта, что то и дело высекал Господь из неумной александровой природы. Следы этих искр легко прослеживаются и в переписке братьев, где старший легко переходит с русского, на немецкий, с немецкого на французский. Или – полностью строчит письмо на латыни.

Когда совсем скучно – ударяется в старославянский. Потом – в греческий. Слабρίζει всё это лингвистическое блюдо украинской мовой. Плюс – химическими формулами. Плюс – экскурсами в кладовые последних научных открытий. Чтобы закончить рассказом об экспедиции за наблюдением солнечного затмения, в которой вся делегация напилась до положения риз и никакого затмения, естественно, не заметила.

В похожие моменты терпение Антона лопалось, и он в письмах честно и жестко наставляет брата на путь истинный. Неумного, иной раз, не только в питии, но и в деспотизме к домашним. «Я прошу тебя вспомнить, – упорно вразумляет беспутного и одновременного любимого брата Антон, – что деспотизм и ложь сгубили молодость твоей матери. Деспотизм и ложь исковеркали наше детство до такой степени, что тошно и страшно вспоминать». И призывает Александра прервать эту «семейную традицию».

Но Александр ее только откорректирует. Он потеряет две семьи, точнее – даже три. Первая жена умрет, вторая уйдет сама. Когда в Петербург привезут гроб с телом Антона, Александр куда-то запропаستится.

Родственники в очередной раз предадут его анафеме. Заступаться и вразумлять его со смертью Антона будет уже некому. Александр переживет брата на девять лет. Теперь уже его настигнет настоящее одиночество. Его покинут все. Доживать свой короткий век он будет изгоем на даче. Под Петербургом. Хоронить никто из Чеховых не приедет. И неясно, что стало с огромным архивом Александра, посвященным его любимому брату Антону. Оказывается, всю жизнь и до последних дней Сашичка собирал, вырезал из журналов и газет всё, что попадалось ему из написанного о дорогом ему и любимом друге Антоне...

Борис Слуцкий

Однажды в Тарусе родилось знаменитое стихотворение советской оттепели. Это «Физики и лирики» Бориса Слуцкого – одного из самых пронзительных и точных поэтов XX века. Соавтора незабвенных «Тарусских страниц», овеянных больше именами Цветаевой, Паустовского, Окуджавы, Казакова, Самойлова, Заболоцкого. Но почему-то – не философски драматичного, изысканно угловатого и лирически нервного Слуцкого. Того, кто как бы мимоходом в провинциальном калужском литературном альманахе блестяще зарифмовал смысл жизни, смысл времени... Но прежде с тарусских берегов Оки выступил с поэтическим «обращением к нации», стремительно удаляющейся из гуманитарных сфер в технические. Что-то она там обретёт?..

Что-то физики в почёте.
Что-то лирики в загоне.
Дело не в сухом расчёте,
Дело в мировом законе.
Значит что-то не раскрыли
Мы,
Что следовало нам бы!
Значит слабенькие крылья –
Наши сладенькие ямбы.
И в пегасовом полёте
Не взлетают наши кони...
То-то физики в почёте,
То-то лирики в загоне...

«Физики и лирики», – вспоминал впоследствии Борис Слуцкий, – не совсем моё, отделившееся от меня стихотворение. Написано летом 1960 года в лодке на Оке близ Тарусы, где с Таней мучились от жары и мух. Катали на лодке нас Андрей Волконский с женой Галей Арбузовой. Волконский говорил без передышки, желчно. Как космополит из «Крокодила», ругал литературу, своих тестей, Арбузова и Паустовского, а потом, разошедшись, до Л.Толстого включительно. Говорил о своём происхождении, о том, что «Таруса была наша», и т.п. Я сперва прислушивался, спорил, жалел Галю. А потом под шум мотора и Волконского написал стихотворение и очень опасался. Что забуду его до берега, не запишу. Потом все жарили рыбу, а я быстро записал в блокноте... Проблема была животрепещущей, как эта же рыба. Только что в «Комсомолке» технари Полетаев и Ляпунов резко спорили об этом же с Эренбургом... Товарищи по ремеслу сперва отнеслись к «Физикам и лирикам» как к оскорблению профессии... Ругали горячо, зло... Постепенно к «Физикам и лирикам» привыкли. Ашукина включили название стихотворения в свой сборник «крылатых слов», и это единственный мой оборот, удостоенный такой чести».

Борис Слуцкий, скорее всего, ошибался на счёт малой «крылатости» своих строк. Просто крылья его метафор и рифм не так просто было расправить и разогнать до обретения ими нужных подъёмных сил. В тех же провинциальных «Тарусских страницах» размах «крыльев» этих было вполне достаточно для высоконравственного поэтического полёта.

Надо думать, а не улыбаться,
Надо книжки трудные читать,
Надо проверять – и ушибаться,

Мнения не слишком почитать.
Мелкие пожизненные хлопоты
По добыче славы и денег
К жизненному опыту
Не принадлежат.
(«Тарусские страницы», 1961 г.)

Если забыт нынче Слуцкий, то это – не его проблема. Это – наша беда. Экономящих время, экономящих честность, экономящих жалость...

Мне не хватало широты души,
Чтоб всех жалеть.
Я экономил жалость
Для вас, бойцы,
Для вас, карандаши.
Вы, спички-палочки
(так это называлось).
Я вас жалел, а немцев не жалел.
За них душой нисколько не болел.
(«Тарусские страницы», 1961 г.)

Когда фронтовой советский офицер вдруг, как бы извиняясь, признаётся в том, что «не болел душой» за немцев – это странно. Но только – поначалу. Потом – больно за него, за насмотревшегося военных зверств и, тем не менее, сумевшего сломать в себе тотальную ненависть к врагу в лице пиликающего на гармошке перед неминуемой смертью пленного фрица.

Мне – что?
Детей у немцев я крестил?
От их потерь ни холодно,
ни жарко!
Мне всех – не жалко!
Одного мне жалко:
Того,
что на гармошке
вальс крутил.
(«Тарусские страницы», 1961 г.)

Если кто-то жизненный опыт собирает по крупичкам, то Слуцкий – по осколкам: мин, снарядов, судеб, эпох... От того, видимо, так колючи с виду и нарочито угловаты его накрепко сбитые рифмы и выкованные из них стихи. От этого же, скорее всего, тяга Слуцкого к не менее тёртому судьбой Николаю Заболоцкому, обретшемуся после тюрьмы в Тарусе. И, очевидно, сыгравшему не последнюю роль как в целеуказании ненадолго пришвартовавшегося к окским берегам поэта-фронтовика, так и подарившему литературное бессмертие захоластному городишке альманаху.

«Однажды, уже в 1958 году, летом, я приехал к нему (Заболоцкому) в Тарусу, – вспоминал Борис Слуцкий, – и мы провели вместе несколько часов... Мы никогда или почти никогда не говорили с Н.А. о его темницах... На общий чересчур вопрос о шести лагерных годах: «Ну, как там было?» – он ответил не распространяясь: «И плохо было, и очень плохо, и очень даже

хорошо». Кажется за шесть лет он написал одно только стихотворение... «Где-то в поле возле Магадана» написано поздно».

Проблема вынужденной поэтической немоты была близка и Заболоцкому, и Слуцкому. Но последний ещё в начале 60-х пытался прорвать её неслыханной на ту пору «свободой слова». И втиснуть эту «свободу» в нечаянно боднувший советскую идеологию тарусский литературный альманах. Но даже при небывалом на тот момент либерализме, окутавшим в 60-е «тарусский парнас», освободить поэтическое слово Борису Слуцкому так до конца и не удалось. «Озвучит немоту» советского народа литературный альманах в полной мере не решился, дав лишь начальный кусок краеугольного стиха поэта:

На экране безмолвные лики
И бесшумные всплески рук,
А в рядах – справедливые крики:
Звук! Звук!
Дайте звук, дайте так, чтобы пело,
Говорило чтоб и язвило.
Слово – половина дела.
Лучшая половина.
Эти крики из задних и крайних,
Из последних тёмных рядов
Помню с первых, юных и ранних
И незрелых моих годов
(«Тарусские страницы», 1961 г.)

И только через двадцать лет Слуцкому разрешили напечатать стихотворное продолжение его грозного «тарусского» требования «озвучить» советскую картину:

Я себя не ценю за многое.
А за это ценю и чту:
Не жалел высокого слога я,
Чтоб озвучить ту немоту.
Чтобы рявкнули лики безмолвные.
Чтоб великий немой заорал.
Чтоб за каждой душевной
Молнией
Раздавался громов хорал.
И безмолвный ещё с Годунова,
Молчаливый советский народ
Говорит иногда моё слово,
Применяет мой оборот.

«Применяемость оборотов» Слуцкого не менее весома, чем чисто поэтический аспект его творений. Мощные, высокоточные, хотя подчас и неожиданные рифмы поэта-фронтовика легко «достреливают» до нас из далёких уже 60-х годов. И это, пожалуй, единственный случай, когда защищаться от обстрелов осаждённым не стоит...

Юрий Нагибин

Вспомним о Нагибине. Почему именно сейчас?.. Ну да, было столетие. Впрочем, это – не главное. Потому что – время подвело. Да не подвело, а грубо толкнуло назад, к пронзительно горьким и до жестокости честным, прежде всего к самим себе, книгам Юрия Нагибина. Та самая жизнь, что всё вдруг нынче опрокинула: привычки, поступки, планы, надежды, судьбы, вывернулась изнанкой, посмеялась над прожитым, погрозила грядущим. Жизнь, что была так прочна ещё вчера, так мила и беспечна по своей сути и надежна в основе, взяла и повернулась к человеку спиной. И потекла обратно. Простите, уважаемая, вы куда?..

«Жизнь состоит из приливов и отливов, – занес в свой военный блокнот 22-летний Нагибин. – Надо уметь не обольщаться приливами, хотя и не бояться получать радость от них, надо спокойно выждать их возврата в тяжкие минуты отливов». Что ж, у бытия случаются «минуты отливов». Это бывает... Кому, как не вечно метущемуся по воле жизненных волн Юрию Нагибину, была знать об этой своевольной стороне наших судеб. Кому, как не ему, высокомерному с виду советскому литературному барину, мастеру выменянного, казалось бы, на бутерброд с красной икрой и поездки за рубеж, редкого по выразительности пера, ему, мучительно соскребающему наросты нечеловеческого с человеческих (в первую очередь – своей) душ, было дано ведать главные причины корреляции между жизненными отливами-приливами и нравственными взлетами-падениями себя и окружающих.

Поздняя жесткая проза Нагибина, его «Встань и иди», те же разруганные и расхваленные на все лады «Дневники» – пожалуй, самое верное чтение в нынешние непростые короновирусные времена. Жест не столько юбилейный, сколько очистительный. Точнее – побуждающий к мужественному разбору нравственных завалов, что всё старательней человек громоздит на своем пути, подчас полностью закупоривая дороги в будущее. Хотя и обольщаясь при этом обманом бесконечно-безответственного настоящего. «Да я твердо уверен, – предваряет свою главную книгу Юрий Маркович, – что совершенная искренность и беспощадность к себе... могут заинтересовать других людей, ибо помогают самопознанию».

Именно самопознания, беспощадного и искреннего – вот, чего не хватает сегодня человеку. И к чему, по сути, его подтолкнула беда с всемирным заражением. Чем именно? Коронавирусом? И им – в том числе. Но ранее – вирусом, скорее, нравственным. Более серьезным и глубже затаившимся. Обусловившем, вполне может быть, вирусы последующие. О коих мы мало хотим знать, кроме одного – когда они сами собой исчезнут. А они продолжают сидеть внутри. Ими пущены глубокие корни. Прежде, чем их выкорчевать из себя, их надо познать. Что подчас оказывается еще больней...

«...Есть горькое удовлетворение в том, – беспощаден в правде о человеческой сути уставший от этой самой сути Нагибин, – чтобы родиться и жить и, наверное, погибнуть тогда и там, где сорваны все маски, развеяны все мифы, разогнан благостный туман до мертво-графической ясности и четкости, где не осталось места даже для самых маленьких иллюзий, в окончательной и безнадежной правде. Ведь при всех самозащитных стремлениях к неясности, недоговоренности хочется прийти к истинному знанию. Я все-таки не из тех, кто выбирает неведение. Я не ждал добра, но все же не думал, что итог окажется столь удручающ. До чего жалка, пуста и безмозгла горьковская барабанная дробь во славу человека!..»

Очевидно, на возможный вопрос – верил ли сам Нагибин в человека? – можно было бы ответить словами Бродского, когда поэт отвечал на точно такой же вопрос о Боге: верите ли вы в него или нет? «Временами – да, – отвечал Бродский, – временами – нет». Нагибин в человека, впрочем, как и в себя, верил временами. Заполняя перерывы веры мучительными поисками чужих и своих ошибок, приводящих к неверию. Далее шло раскаяние. Понятно – собственное. И вера с мучительной болью оживала: в себя, в других... Хотя и омытая поздними слезами:

раскаянного предательства, отмщенных неправд, отмленного зла. Как, например, о самом страшном грехе писателя – предательстве собственного отца. Греха на самом деле не было, но была непрекращающаяся саднящая боль в душе Нагибина о том, как уходил в забвение самый дорогой для него человек. И этот, выдуманный, по сути, грех мятущаяся душа писателя не могла никак смягчить и сделать невесомым. Потому что невесомой тогда бы оказалась собственная душа...

Время Нагибина вернулось неожиданно. Все вроде бы шло к тому, что в новой благодной жизни ему не место. Не только с тем из им написанного, что забыть и в самом деле не жаль и лучше, как конъюнктуру, отбросить, но и с тем, без чего во времена цивилизационного ЧС никак не обойтись. ЧС главным образом морального толка, а не техногенного, когда всерьез встают вопросы о «жалкой и безмозглой барабанной дроби во имя человека». Как, впрочем, и его, человека, способностях распознать в себе главную цель – победить самого себя.

Сергей Сергеев-Ценский

Не знаю, как кто, а я подбирался к Сергееву-Ценскому кружным путем. Ну, уж слишком извилистым. Да что там говорить – почти вслепую... Метнулся назад лет пять тому в Тамбовский край, да не на его родину, а – своего детства, под Жердевку. Погрустить о былом. Вдохнуть незабытый аромат густых темнящих пашен. Поискать в зарослях ракиит фундаменты дедова и соседских с ним домов. Не узнать тех мест, где бегал босиком. Где счастлив был. Любим. Желанен.

Пусть слезу. Сесть на краю погрузившейся навеки в чернозем родной деревни. Откопать на память кирпич из дедовских руин. Сесть в машину и, не успев засветло добраться до Калуги, заночевать в Тамбове где-то на берегу Цны. Утром выйти на извилистую набережную. Взглянуть на купола ближних и дальних соборов. Послушать колокольный перезвон и шепот речной воды у рыбацких мостков. Сделать несколько шагов в гору от непривычно скромной для русских широт реки. Всей грудью глубоко вдохнуть – а хорошо!..

И вдруг застыть в почтенном трепете подле выросшего из гранитной глыбы могучего человека с пышной шевелюрой и грозными усами, устремившего – нет, даже скорее вонзившего – взгляд куда-то далеко-далеко, направившего его на что-то большое-большое, такое важное и судьбоносное, что, казалось, человек этот каменный вот-вот шагнет с постамента вниз и устремиться к этому важному и большому, оставив позади волшебный, тихий, уютный, полусонный Тамбов с тягучей малой речкой за спиной.

Это была моя первая встреча с Сергеевым-Ценским. Каюсь, она прошла даром. Я слышал, что был такой писатель, но прежде не читал: ни в школе (она игнорировала сего могучего тамбовчанина), ни после. Не открыл я его бессмертного «Медвежонка» и тогда – после первой тамбовской «прелюдии». Не познал его же великую «Печаль полей», хотя сам точно такой же печалью был болен. Почившая в черноземных недрах родная моя деревня, казалось, плакала, взывала оттуда из преисподней о скороспелом своем уходе в мир иной, о том, что могла народить еще жизни с три короба, но не народила, что могла бы еще встречать нас, своих птенцов, посверкивая на пять верст вокруг своими пестрыми крышами, но, видно, больше уже не встретит. Отчего так?.. «Над полями, уползающими за горизонт, – прочту я вскоре о том же у Сергеева-Ценского в его «Печали полей», – опоясанными длинными дорогами, логами, узкими оврагами, неслышно и невидно, но плотно и тяжело повисло нерожденное. Что-то хотела родить земля, – что? – не леса, не горы, не тучи, – что-то хотела и не могла... Силою теплых дождей напоен и храбро пыжится каждый угловатый ком чернозема. Взапуски тянутся отовсюду, спеша и смеясь, тоненькие трубочки былинки: выпускают из своей гущи жаворонков в небо; пьют ночные росы и тянутся выше, выше, по брюхо приземистой каурой сельской лошаденке, и еще выше. Пока не остановятся вдруг, не оглянутся кругом и, испуганные, не начнут поспешно отцветать, желтеть и вянуть...»

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.